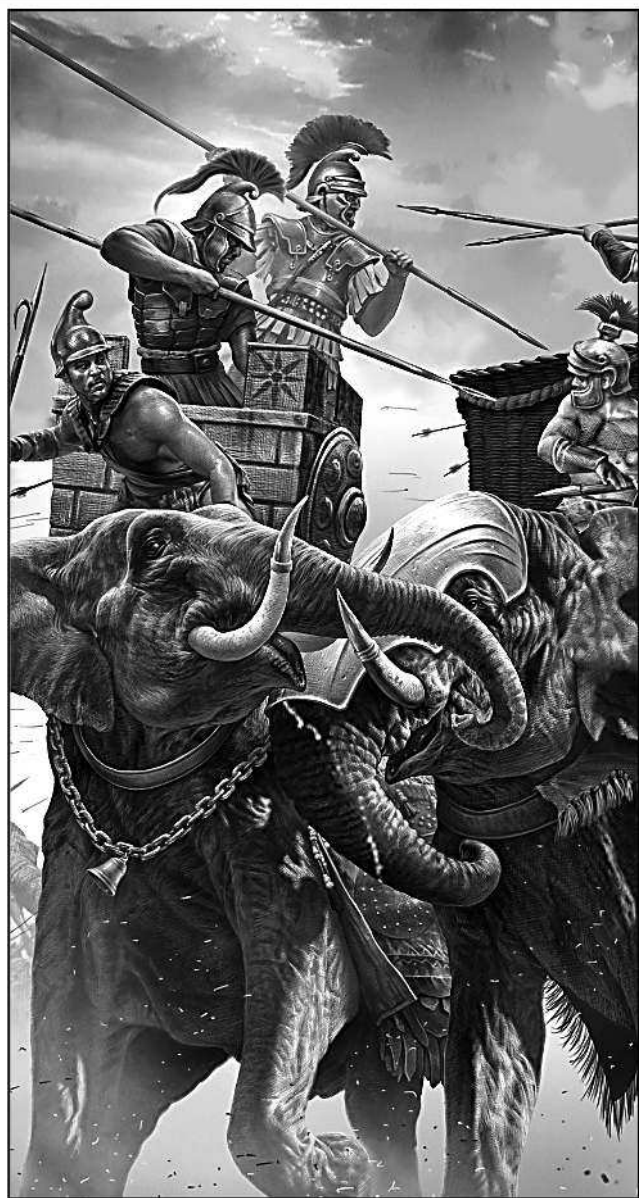




ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ





ЛЕВ
ВЕРШИНИН



ОБРЕЧЕННЫЕ
СРАЖАТЬСЯ

Лихолетье Ойкумены



МОСКВА
2016



УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В37

Художник Игорь Варавин

Вершинин, Лев Рэмович.

В37 Обреченные сражаться. Лихолетье Ойкумены / Лев Вершинин. — Москва : Яуза : Эксмо, 2016. — 384 с. — (Исторические приключения).

ISBN 978-5-699-89640-0

Божественный Александр умер в возрасте 33 лет, так и не завершив завоевание Ойкумены, – и его колоссальная империя рассыпалась как картонный домик. Наследники-диадохи сцепились насмерть в борьбе за власть. Прекрасная мечта о всемирном царстве, новом мировом порядке, грядущем Золотом веке обернулась Хаосом, войной всех против всех, адом на земле...

Боевые слоны прокладывают кровавые просеки в рядах гоплитов. Атаки прославленной македонской конницы вязнут в стальной чаше сарисс. Несокрушимые фаланги ложатся костями под ливнем стрел. Ойкумена истекает кровью под пятой громадных армий. И ставка в этой беспощадной Игре Престолов – миллионы жизней...

Читайте первый русский роман о крахе сверхдержавы Александра Великого, который написан безупречным языком, а читается как захватывающий боевик! Оказывается, и приключенческий бестселлер может быть настоящей Литературой!

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-89640-0

© Вершинин Л.Р., 2016
© ООО «Издательство «Яуза», 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016

*Светлой памяти моей мамочки,
Эдит Львовны Вершининой, посвящаю.*

О событиях, происшедших после безвременной смерти в Вавилоне Царя Царей Александра, сына хромого Филиппа из Македонии, прозванного в Азии «Зулькарнайном», что означает «Двурогий», а в Европе признанного Божественным, но все равно не дожившего и до тридцати четырех.

О том, как непросто решить, что же такое, в сущности, справедливость.

О политике, которой лучше всего не заниматься вообще, а если уж занялся, то изволь не пенять на испачканные сандалии.

О том, как никто не хотел воевать, но куда же денешься, если Ойкумена одна на всех.

О друзьях, переставших находить общий язык.

О мальчишке с вершин, которого пока еще никто не принимает всерьез, а зря.

И о многом другом, случившемся на просторах от Эпира до Месопотамии между годом 460-м и годом 466-м от начала Игр в Олимпии, за три века до рождения в Бейт-Лахме Галилейском Иешуа-плотника, сына Йосефа и Марьям, умевшего ходить по воде, и за девять с лишним веков до того, как в одну из полнолунных ночей Мухаммеду, второму мужу купчихи Хадиджи, открылась истина...

Прологий



УХОДЯЩИЕ В ЗАКАТ

Вавилон-на-Тигре.

*Первые дни лета года 453-го от начала Игр в Олимпии
(12–13 июня года 323-го от Рождества Христова)*



от уходил, ничем не отличаясь от любого из смертных — в липком поту и сводящих иссохшее тело судорогах, в стонущих обрывках жутких снов, в пронзительной вони мочи и жиденького поноса, заглушить которую оказалось не под силу ни тягучему дыму индийских благовоний, ни свежему ветерку, вольно влетающему в обитель смерти сквозь распахнутое окно, уходил, ни на миг не приходя в сознание; слипшиеся поредевшие кудри разметались по мягчайшей подушке, покрывала, сменяемые одно за другим, вмиг становились мокрыми, словно после стирки, а слюна в воспаленном горле Бога кипела и клокотала, выступая на спекшихся, покрытых коркой губах зеленоватыми сгустками слизи...

Первые три дня никто в огромном городе не тревожился сверх меры; здоровье Бога, хоть и подорванное затянувшимся на полгода разгулом и не раз уже дававшее сбой, по-прежнему поражало врачей, заставляя их недоуменно разводять руками в попытках понять: как человеческому организму, пускай и молодому, удастся справляться с чудовищным многолетним перенапряжением, щедро помноженным на попойки, бессонные ночи, курение одуряющей парфянской хаомы* и прочие радости, способные свести в могилу самого Геракла.

Глупые целители, в силу своего ремесла напрочь лишённые способности верить в чудо, хотя и соблюдали предписанные ритуалы, но все же не могли осознать, что имеют дело с Божеством, возможностям которого нет пределов.

Оказалось — есть.

На пятый день болезни, вопреки сводкам, трижды — утром, в три пополудни и вечером — сообщаемым глашатаями топчущимся у дворцовых ворот толпам, по городским улицам из уст в уста, проникая за полисадии воинских лагерей, объявленных накануне находящимися на чрезвычайном положении, поползли слухи. Говорили разное: кто — о гнилой лихорадке, приставшей к Богу после купания в камышовых зарослях, болезни мерзкой и трудноизлечимой, кто — об иной хворобе, индийской, подхваченной Богом уже давно, затаившейся до срока в глубинах нутра и ныне выползшей на поверхность во всеоружии; точное название этой хвори не было известно никому, но все — от рыночного метельщика до действительного купеческого союза Баб-Или, Врат Божьих, единодушно сходились во мнении, что спасения от нее нет; иные, вовсе уж с оглядкой, едва ли не впившись губами в настоженное ухо довереннейшего из друзей, позволяли себе кощунственно предположить, что там, во дворце, за семью кольцами охраны, медленно и жестоко приводится в исполнение приговор горных демонов Согдианы, проклявших Бога за безжалостное истребление ста тысяч непокорных горцев...

А на исходе седьмого дня, после обычной проверки пульса и вечернего осмотра, выйдя в соседний зал, повесился на собственном поясе Архий из Митилены, знаменитейший целитель и диагност, ученик самого Филиппа Акарнанского, спасшего некогда Бога от верной смерти, но увы, покойного, и не способного теперь прийти на помощь; Архий висел, вывалив набрякший синий язык, глаза его были вытаращены, а на полу сиротливо валялся клочок папируса с наспех нацарапанными словами по-

следнего, что мог он сказать остающимся жить: «Лучше уж самому!»; сразу после обнаружения тела, по приказу мрачного и озабоченного Пердикки, хранителя царской печати, за прочими лекарями был установлен неусыпный надзор с целью предотвратить подобные побег от заслуженной кары в случае, если произойдет наихудшее.

Самоубийство Архия находящиеся во дворце попытались скрыть, зарубив на всякий случай и раба, обнаружившего тело, и служителей, тело снимавших, и даже нескольких стражников, не показавшихся Пердикке вполне благонадежными. Тщетно. Уже к полуночи весть о враче, наложившем на себя руки, достигла полисадиев, и в палатках третий день не спавших воинов родился нелепейший, неправдоподобный, но, видимо, именно потому и принимаемый на веру слух о том, что Царя Царей отравили. Кто? — с уверенностью назвать этого человека не мог ни один из сплетников; назывались имена разные и многие, даже слишком многие, и лишь это соображение пока что удерживало войско от бунта, ибо отомстить за смерть Бога и покарать его губителей ветераны готовы были немедленно, но перебить своих стратегов до единого все же не желали, справедливо полагая, что погибнут здесь, в глубинах так и не ставшей для большинства родной Азии, оставшись без командиров...

А глубокой ночью, спустя всего лишь несколько часов после того, как тело несчастного Архия было брошено в ров царского зверинца на радость почти неделю голодающим хищникам, Бог очнулся.

Он открыл глаза, обвел опочивальню потусторонним взглядом и чуть слышно попросил пить.

И лекарь, чей черед был в эту ночь бодрствовать над постелью больного, обливаясь слезами счастья, поил его подслащенными целебными отварами, и рабы суетились, спешно перестилая перины, потому что очнувшийся слабым голосом пожаловался на неудобство, и архиграмматик* Эвмен, правая рука хранителя печати, торопливо наставлял своих неприметных людей, разъяс-

няя им, как, когда и по какой цене организовывать с утра вспышки народного ликования, и где-то на женской половине гигантского дворца Навуходоносора, услышав от рабыни радостную весть, всплеснула руками и рухнула без чувств молоденькая чернокожая женщина с огромным, круто выпирающим животом, и почти неделю молчавший, словно усыпальница, полутемный и хмурый дворец вспыхнул сотнями свечей, факелов и лампад, уже самим сиянием своим извещая город, воинские лагеря и всю Ойкумену о свершившемся чуде.

Один за другим, беспощадно нахлестывая коней, влетали в похожий на сад дворцовый двор стратеги, не глядя швыряли конюхам поводья и торопливо, увязая в высоком ворсе персидских ковров окованными медью эндромидами*, стекались к высоченным, в три человеческих роста, дверям покоя, где лежал, медленно возвращаясь в этот мир, Бог; они почти пробежали последние коридоры и все, без разбора — Птолемей Лаг, Лисимах, Селевк Мелеагр, Кратер, одноглазый Антигон, не говоря уж о десятках иных, помельче, — замирали, ткнувшись в грудь кряжисто-несокрушимого, закованного в пластинчатую бактрийскую броню Пердикки, стоящего, положив ладонь на рукоять махайры*, у входа в опочивальню.

«Да, Царю Царей лучше. Да, пришел в себя. Да, может говорить. Нет, не пушу никого без повеления!»

И стратеги, узнав главное, послушно усаживались на обтянутые мягчайшей кожей нерожденных телят сиденья, готовясь к долгому ожиданию и провожая завистливыми взглядами мечущихся, снующих из двери и обратно врачей. Никто из них не требовал ничего и ни на чем не настаивал, ибо каждый знал, что Пердикки не меняет своих решений, но ни один и не собрался уходить.

Ни им, прославленным в битвах, ни всезнающему Эвмену, ни самому хранителю печати не было известно, сколько придется ждать, прежде чем Бог соизволит призвать их к себе. Как ведомо было и то, что Бог никого не желает видеть.

Потому что Бог думал.

Невысокий, крепкий, великолепно натренированный, он и помыслить не мог доселе, что тело, так хорошо служившее ему все эти тридцать три года, тело, легко переносившее болезни, сутками не устававшее ни в седле, ни на ложе любви, тело, способное перехитрить и повергнуть в прах любого врага, удивительное тело, на котором самые тяжкие раны заживали словно на собаке, — это тело откажется двигаться, сраженное невероятной, унижительной слабостью.

Это было не по правилам, и что с того, что правила эти он установил сам?!

Таково право Бога!

Но сейчас он не чувствовал себя Богом, и это было унижительнее всего.

Больной звал отца.

Нет, не хмурого и злого Филиппа, которого ненавидел с детства — за ограниченность, неумение мечтать, за то, что матушка плакала по ночам, слушая хмельные песни и визг плясуний, доносящиеся из опочивальни, расположенной на первом этаже мрачного и маленького дворца македонских царей; не Филиппа, гибель которого была долгожданным подарком, открывшим Богу путь к нестерпимо сияющим высотам... Да ведь Филипп и не был ему отцом, разве что по названию, не больше... сперва это было матушкиной тайной, потом — тайной, доверенной сыну... и лишь позже, достигнув всевластия, он раскрыл этот секрет во всеуслышание: его отцом был Зевс-громовержец! Единственный, кто воистину достоин был разделить с его матушкой ложе! Да, именно он, а не какой-то Филипп, грязный и потный варвар, убивающий и побеждающий всего лишь ради добычи.

Бог возвестил об этом всей Ойкумене радостно и гордо, а его поначалу подняли на смех. Ну что же, он сумел обуздать излишне смешливых. Быть может, задыхаясь в петлях, кладя головы на плаху, медленно умирая на зубчатых колесах, они и пожалели о своей недоверчивости...

ему это было уже неинтересно. А потом, когда были разбиты персы, сперва — на Гранике, а потом и при Иссе, где, бросив колесницу и тиару*, спасался бегством от его крохотного войска сам шахиншах Персиды — кто смел бы сомневаться в том, что он, царь Македонии Александр, совершивший невозможное, действительно сын Отца Олимпийцев?!

И мудрые жрецы Египта, покоренного им, сами, не дожидаясь указаний, провозгласили его сыном великого Аммона, повелителя богов, сияющего в синеве... Но ведь Аммон — всего лишь второе имя Зевса, и кому, как не египетским жрецам, постигшим самые сокровенные тайны, знать истину о его рождении?!

Если и были у него какие-либо сомнения, они рассеялись в Египте, как роса под дыханием горячего хамсина, и более он уже не сомневался ни в чем.

Никогда.

Он шел на восток, подчиняя никем никогда не покоренные города и сокрушая великие державы, не останавливаясь, не обращая внимания на ропот усталого войска, не щадя ни самого себя, ни других, жалких, шел туда, куда никто не добирался до него, даже великий Кир, называемый персами Курушем, шел через непроходимые пески и неодолимые горы и побеждал, побеждал, побеждал всех, осмелившихся встать у него на пути! Да, среди них встречались отважные и умелые и были упрямые — взять того же Спитамена, да будет проклята память о зломном согдийце! — и орды их бесстрашных воинов были раз от разу куда многочисленнее его истомленной армии. Но они стали прахом и тленом, а он надел на голову тройную тиару Царя Царей всего Востока и перешел Инд! Так разве не довольно было всего этого смертным, чтобы понять наконец и признать: да, он — сын Диоса-Зевса, призванный и благословленный небесным Отцом для того, чтобы стать владыкой всей Ойкумены, от Оловянных островов до шести шелковых царств?!

Оказалось, мало.

Смертные смели сомневаться.

Ворчали старики, побратимы покойного Филиппа, позволявшие себе утверждать, что это они, а не он, сын Зевса, создали непобедимую армию македонцев. Они бурчали и шипели, что негоже-де истощать силы Македонии в погоне за химерой — как будто ему, Богу и владыке Ойкумены, было дело до их грязной, пропахшей козыми шкурами Македонии! Они не верили в его божественность, эти выжившие из ума старцы, истлевшие заживо призраки прошлого, осмелившиеся поучать его — Бога! — на том ничего не стоящем основании, что забавляли его в колыбели...

Они мешали ему. Они оплевывали его мечту.

Им пришлось умереть.

Вместе с отродьем, всеми этими горластыми македонскими забияками, чтобы кто-то из чересчур преданных сыновей не вздумал прогневать Олимпийцев, решив мстить за отца бессмертному божеству.

Но и это не убедило маловеров.

Хотя македонцы, тупые, как их сапоги, и чересчур умные греки, обожающие подвергать все сомнению, прикусили на время гнусные языки, но лживость их и подлая суть вышли наружу, когда при дворе была введена проскинеза. Разве это так уж унижительно: кланяться, преклонив колени? Да, бесспорно, земно поклониться смертному — потерять свою честь.

Но — Богу?!

И потому отказавшиеся кланяться умерли злой смертью, чтобы никому неповадно было впредь навлекать на Ойкумену, на ни в чем не повинные племена, населяющие ее, гнев Олимпийцев. Он не пощадил никого, даже друзей детства, потому что проявлять слабость и помиловать одного, двух, десятерых — означало бы вопиющую несправедливость по отношению к тысячам осужденных на казнь.

А Бог обязан быть справедливым и не делать ни для кого исключений.

Он — не делал.

Странно: свои очень быстро стали чужими, зато чужие, кого полагалось считать варварами, неполноценными, поняли все правильно. Он возненавидел македонцев и эллинов, зато полюбил персов, не медлящих, склоняя колени перед божеством.

Азиаты не сомневались ни в чем.

Они доблестно сражались против него, но складывали оружие, уяснив, что имеют дело с сошедшим на брэнную землю бессмертным; они, а не пресловутые единокровные, одобрительно кивали, выслушивая его речи об одной Ойкумене, одном народе, одном повелителе.

Да! Мир, в котором равны все, вне зависимости от языка, веры, рода, равны в подчинении властелину, мир, в котором нет войн, потому что нет границ, мир, которым правит бессмертный Бог, чуждый людских слабостей и пороков, — разве не это мечта, достойная Олимпийцев?

И он добился бы этого! И — как знать! — со временем, быть может, превзошел бы могуществом самого Диоса-Зевса, ибо отцам свойственно дряхлеть, уступая дорогу сыновьям?! Тогда, завершив покорение Ойкумены, он поднялся бы на вершину Олимпа и предложил бы престарелому родителю удалиться на покой, в любое из бесчисленных владений, принадлежащих наследнику, и старик согласился бы, потому что сила всегда убедительна... Он обязательно достиг бы этого... Если бы не эта проклятая слабость, вдруг сковавшая тело!

Врачи суетились вокруг, задавали вопросы, подносили к губам ароматные настои, но он не отвечал им вовсе или, если очень уж докучали, отвечал ругательствами, ибо они мешали ему. Они не знали, что из забытья он вышел лишь потому, что иначе никак невозможно было спастись от несчетной толпы бесплотных теней, жадно протягивавших к его — Бога! — беззащитному горлу когтистые ледяные лапы.

Он узнавал их лица, различал голоса, и ему было так страшно, что он очнулся, но сейчас, слабо и хрипло

дыша, Бог понимал то, чего не могли, а быть может — просто боялись понять целители.

Это пробуждение — ненадолго.

Если не поможет отец.

Болезнь неторопливо шевелилась в нем, и он ясно ощущал, как цепки и беспощадны коготки на ее лапках, впивающиеся все глубже и глубже в почки, легкие, печень; он уходил в никуда, даже хуже, чем в никуда, — во мглу, населенную хищными, поджидающими его теньями, и ему было страшно, и самое время было отцу, Диосу-Зевсу, явиться сюда, ну, на худой конец, послать кого-то из детей — почему не Арея, бога войны, с которым он по-братски разделил так много пищи?! — чтобы помочь сыну справиться с недугом...

Ведь он — Бог!

Но если так, то что стоит ему сей же час, нисколько не медля, подняться с этого омерзительно влажного ложа?!

Он встанет, прочно уперев в пол ноги, расправит плечи, вздохнет полной грудью — и выйдет туда — к стратегам, к жене, вынашивающей его сына — да, сына, иначе и быть не может! — выйдет к тем, кто никогда не сомневался в его божественной сути, кому он доверяет полностью...

И ему показалось, что он встал, и встряхнулся, и вздохнул, но это было всего лишь обрывком бреда, и над ним склонилось озабоченное лицо врача...

Он не встал.

И, не сумев встать, понял, что Диос-Зевс обманул его, своего сына, взревновав к славе или испугавшись потерять золотой трон на вершине Олимпа.

А если обманул отец, можно ли верить стратегам?

Вот одноглазый Антигон. Отважен. Верен. Без спора преклонил колени, по первому слову Царя Царей совершая проскинезу. Но он же почти старик, служивший еще Филиппу, а можно ли доверять тому, кто был близок к несчастному, смевшему называть Бога гаденьшем?..

Нет. Недостоин доверия Антигон.